

ОСОБЕННОСТИ БИОГРАФИЧЕСКОГО ВРЕМЕНИ В УСАДЕБНОЙ ПОЭЗИИ XIX – НАЧАЛА XX ВЕКА

Статья посвящена изучению особенностей биографического времени в русской усадебной поэзии XIX – начала XX века. Реализм, достоверность, отсутствие идеализации в усадебных зарисовках, преобладание критического или иронического пафоса в оценке помещицкой и крестьянской жизни в дореформенные, пореформенные годы и во время революционных изменений рассматриваются как наиболее характерные приемы создания образа «дворянского гнезда».

Ведущим началом любого хронотопа являются категории пространства и времени [1, с. 234]. Эволюция и генезис усадебной поэзии XIX – начала XX в стали основой нашей монографии [2], однако пространственно-временная характеристика дефиниции осталась за пределами исследования. На современном этапе изучения усадебной поэзии по-прежнему актуальным остается выявление границ хронотопа «дворянского гнезда», раскрывшегося читателю преимущественно во второй половине XIX – начале XX в. Поскольку усадебный комплекс изначально представляет собой своеобразный социокультурный локус – «бытовое культурное пространство» [3, с. 62], поэтапное исследование его границ целесообразно было начать с освоения наиболее значительных пространственных зон – дома (дворца) и сада (парка) [4]. В данной работе объектом исследования избирается одна из важнейших для усадебного хронотопа характеристик – биографическое время, раскрывая специфику которого, мы обратимся к проблемному принципу анализа поэтических текстов.

Усадебная идиллия, усадебная пастораль в лирике поэтов XIX века предполагает ретроспективное мышление автора-персонажа или лирического героя; дефиниция устремлена в близкое прошлое и сопряженные с ним ценности – семейные, родовые, земельно-дворянские.

Время усадебное воспринимается прежде всего как мифологическое, оно всегда в прошлом и замкнуто на прошлом, приходит к лирическому герою и персонажу в воспоминаниях о детстве и юности, атмосфере любви, заботы, внимания, царящих в замкнутом, камерном мирке поместья. Свойственная усадебной поэзии идеализация ста-

рины, помещицкого быта, уходящего в прошлое, происходит в границах архетипической оппозиции «ухода – возвращения» («встречи»). В исповедальных монологах героя, как правило, воспроизводится патриархальная модель целеполагания, с необходимыми для ее воплощения строительством дома, посадкой деревьев на территории усадьбы, воспитанием детей.

Лирический герой испытывает потребность рассказать о былых мечтах, о жизни семьи в старом поместье, только когда прогуливается по окрестностям или по комнатам дома, появившись на территории через много лет и многократно отправляясь в неторопливое путешествие в прошлое. Ступая по круговым, сходящимся и расходящимся особым способом дорожкам усадебного парка, персонаж подчиняется и ритму воспоминаний, каждый раз протекающих «по кругу», возвращающих его в годы детства и юности, запомнившиеся как самые счастливые и безмятежные.

Во многих стихотворениях, рассказывающих о жизни в усадьбе, мифологическое время созвучно биографическому, раскрывающему такие этапы, как детство, юность, зрелость лирического героя, а также времени историческому, отражающему неумолимую смену укладов русской жизни, смену поколений в поместье.

Лирический герой вспоминает различные этапы своей жизни в усадьбе, однако идеализации помещицкой жизни при этом не происходит. Этапы биографии персонажа воссозданы гораздо достовернее, чем в текстах с преобладанием времени мифологического. Осознавая, что самые важные, запоминающиеся события произошли в далеком прошлом, он заставляет себя критически оценить современную ему действительность

с ее тотальным пренебрежением стариной, внушаемым молодому поколению:

Не храни ты ни бронзы, ни книг,
Ничего, что из прошлого ценно,
Все, поверь мне, возьмет старьевщик,
Все пойдет по рукам – несомненно.

[К.К. Случевский. «Не храни ты ни бронзы, ни книг...», с. 269]

Прежде всего годы детства и юности ассоциируются с семьей, дорогими людьми, чей образ жизни до сих пор сохранен в памяти как пример для подражания. Предпочтения персонажа целиком отданы помещикам-старожилам, заложившим в России патриархальные традиции, их мудрости, опыту, красноречию:

Где старинные эти дома –
С их седыми как лунь стариками?
Деды где? Где их опыт ума,
Где слова их – не шутки словами?

[Там же, с. 269]

Русские дворяне новой эпохи утрачивают весьма ценное свойство – уважение к памяти предков, хотя, казалось бы, в детстве и юности они становились свидетелями прямо противоположного отношения к людям, чей род они сейчас продолжают.

Отрадным может считаться хотя бы тот факт, что молодое поколение дворян-помещиков все еще сохранило уважительное отношение к старым слугам, задержавшимся в поместьях в силу привычки и обстоятельств, вынужденных десятилетиями служить одним и тем же хозяевам. Общаясь с престарелыми нянюшками, старыми «дядьками», доживающими свой век дворецкими, герои получают возможность в их рассказах о прошлом семьи увидеть себя такими, какими они были в годы молодости, когда верили своим наставникам из народа и впитывали исконно русские представления о мире и господствующих в нем нравственных и моральных принципах. Старые слуги помнят историю помещичьего рода лучше, чем свою, – в этом лирический герой заново убеждается каждый раз, выслушивая воспоминания старожилов о своих первых шагах по комнатам имения, о привычках бра-

тьев и сестер, воспитанных здесь же, под одной крышей, о любовных переживаниях, скрыть которые проще было от родителей, чем от проницательной дворни.

Трогательная и нежная любовь к старым слугам может проявляться опосредованно, когда повзрослевший лирический герой вглядывается в лицо любимого человека в надежде уловить в нем привычные черты, подсмотренные в далеком детстве в родовом «гнезде»:

Гляжу на тонкий стан, на девственные плечи,
Любуюсь тишиной больших и светлых глаз;
И слушаю твои младенческие речи,
Как слушал некогда я нянюшки рассказ.

[И.С. Тургенев. «В. Н. Б.», с. 49]

Гораздо большее значение для молодых помещиков имеет непосредственное общение со старыми слугами, которые, руководствуясь чувствами постоянной тревоги и заботы о младших отпрысках старого рода, вынужденных и выпущенных в большую жизнь, время от времени приходят в барскую усадьбу, хотя сами они давно уже утратили статус крепостных крестьян и могли бы устроиться, благополучно позабыв о прошлой зависимости от хозяев поместья.

Молодые помещики склонны воспринимать историю жизни старых слуг только в тесной связи с историей жизни своей семьи, им кажется, что они кровно связаны узами нерасторжимого родства, хотя и принадлежат к разным социальным слоям русского общества. Даже к близким родственникам не всегда русский дворянин испытывает такие доверительные чувства нежности, всепрощения, каких удостоены преданные слуги, потому и встречи с няней-старушкой происходят такие теплые и нежные, беседы – заинтересованные, задушевные, ведь в них речь идет о судьбе самых близких людей:

Что-то вспоминается?
Отчего в глазах
Столько скорби, кротости?..
Лапти на ногах,
Голова закутана
Шалью набивной,
Полушубок старенький...

«Здравствуй, друг родной!
Что ж ты не сказала?»
Поднялась, трясет
Головою дряхлою
И к руке идет,
Кланяется низенько...
«В дом иди». – «Иду-с».
[И.А. Бунин. «Няня», с. 288]

В старые годы, в периоды расцвета усадебной культуры в России помещики и крестьяне жили «роевой» жизнью, они были объединены заботой об урожае, воспитании потомства, достойном проведении церковных и календарных праздников. Хотя после реформы 1861 года формально крепостные крестьяне перестали быть людьми подневольными, тем не менее большинство из них оставалось в прежней роли на территории старых имений, лишь немногие решались поселиться по соседству, в некогда принадлежавшей помещикам деревеньке, или отправиться в город. Очевидно, что-то подобное произошло и с героиней стихотворения Бунина «Няня», которая ведет неспешный рассказ о постепенном приращении своей семьи, о бегстве молодого поколения в город на поиски лучшей жизни и своей тяжелой доле, на которую она даже не ропщет, поскольку за долгие годы пребывания в барской усадьбе привыкла терпеливо сносить все тяготы судьбы. Так и сейчас, рассказывая молодому барину нехитрую историю своей семьи, она дает понять, что до сих пор больше живет его интересами, помнит все дворянское семейство, когда-то возвращенное ею, и не жалуется на несправедливую судьбу, так мало давшую и так много потребовавшую взамен – молодость, силы, красоту, здоровье:

«Как живется-можется?»
«Что-то не пойму-с».
«Как живешь, я спрашивал,
Все одна?» – «Одна-с».
«А невестка?» – «В городе-с.
Позабыла нас!»
«Как же ты с внучатами?»
«Так вот и живу-с».
«Нас-то вспоминала ли?»
«Всех как наяву-с».
[Там же, с. 288-289]

Современный читатель, имевший возможность неоднократно понаблюдать в русской литературе за особенностями поведения помещиков XIX века, в лирике поэтов этого же периода обнаруживает сложное, психологически обоснованное, бережное отношение к старым слугам. В обращении с ними молодой дворянин проявляет лучшие свои качества, ощущает в себе настоятельную потребность оберегать и хранить покой тех, кто когда-то, в пору его вступления в жизнь, в свою очередь, оберегал, пестовал и наставлял юных «птенцов» старого «дворянского гнезда». Более того, лирический герой совершенно справедливо испытывает чувство ответственности за судьбу усадебных стариков, жизнь свою положивших ради процветания помещичьего рода, потому и вопросы его, при всей их простоте, выражают искреннюю заинтересованность и стремление помочь в любой ситуации:

«Да не то: не стыдно ли
Было не прийти?»
«Боязно-с: а ну-кася
Да помрешь в пути».
И трясет с улыбкою,
Грустной и больной,
Головой закутанной,
И следит за мной,
Ловит губ движения...
«Ну, идем, идем,
Там и побеседуем
И чайку попьем».
[Там же, с. 289]

Исторически сложилось так, что совместное проживание на территории поместья помещиков и крепостных крестьян получало свое прямое продолжение и после смерти представителей того и другого сословий. Отведенное судьбой место успокоения предназначалось в равной степени и для представителей простого люда, и для их родовитых владельцев. В фамильных склепах, мавзолеях, часовнях покоились усопшие хозяева поместья, однако эти атрибуты усадебного парка, как правило, должны были иметь выход или какие-либо иные точки соприкосновения с деревенским погостом, или по-старому – пустошью, давшей приют многочисленной дворне, угасавшей, может

быть, менее заметно, но также прораставшей в землю, взрастившую ее.

Рассматривая эти заброшенные, по большей части неухоженные погосты, лирический герой начинает свой отсчет времени, размышляя о судьбе многих поколений простых русских людей, верой и правдой служивших своим господам, прославивших помещичий род своими умениями, талантами, мастерским владением различными ремеслами. Традиция изображения усадебной пустоши, безусловно, была основана романтиком В.А. Жуковским и его «Сельским кладбищем» и сохранялась вплоть до Октября 1917 года в реалистических произведениях И. Бунина.

Апофеозом кладбищенской элегии такого типа можно считать стихотворение Бунина «Пустошь», в котором прослеживается судьба нескольких поколений русских помещиков и крестьян, переживших в пределах одного имения смену исторических эпох, укладов, поколений:

Мир вам, в земле почившие! – За садом
Погост рабов, погост дворовых наших:
Две десятины пустоши, волнистой
От бугорков могильных. Ни креста,
Ни деревца. Местами уцелели
Лишь каменные плиты, да и то
Изъеденные временем, как оспой...
Теперь их скоро выберут – и будут
Выпахивать то пористые кости,
То суздальские черные иконки...
[И.А. Бунин. «Пустошь», с. 284]

В 1907 году у Бунина уже имелись основания для изображения жизни помещиков и крепостных крестьян как без сентиментального пафоса, так и без идеализации. Прошлое видится ему чередой всяческих унижений, которым издавна подвергался русский «поселянин» в помещичьих вотчинах. Он уверен, что та земля, которая в середине века была местом истязаний, даже теперь, приняв безымянные крестьянские тела, не может надежно укрыть их от прихоти новых владельцев имения, – ему доподлинно известно, что погост будет распахан, а прах, кости бывших дворовых удобряют новую ниву.

Ступая от одной могильной плиты к другой, подчиняясь неспешному ритму движения, лирический герой и себя постепенно начинает отождествлять с рабом жестокого века, его обычаями, укладом, разочарованностью в существовании социальной справедливости. По его мнению, XIX – дворянский век принес уже много испытаний русскому человеку, но пришедший ему на смену век XX окончательно лишит привычной почвы под ногами всех тех, кто еще верит в незыблемость патриархально-аграрного уклада:

Я, чье чело отмечено навеки
Клеймом раба, невольника, холопа,
Я говорю почившим: «Спите, спите!
Не вы одни страдали: внуки ваших
Владык и повелителей испили
Не меньше вас из горькой чаши рабства!»
[Там же, с. 285]

На рубеже веков разочарование пронизывает и невеселые размышления стареющей помещицы о том, что и ей вскоре придется пережить забвение семьей, друзьями, близкими, так часто напоминающими о наступлении нового времени:

Приемышу с молоденькой женою
Дала приют... «Скучненько нам втроем,
Да что же делать-с! Давит тишиною
Вас домик мой? Так не живите в нем!»

И молодые сели, укатили...
А тетушка скончалась в тишине...
[И.А. Бунин. «Наследство», с. 287]

Будущее пугает героя, заставляет задуматься о несвоевременности его утопических патриархальных проектов и архаичности облика самого поместья, обустроивавшегося, как в старину, на века:

В том, видно, суть вещей! И я смотрю вперед,
Познав, что жизни смысл и назначенье в том,
Чтоб сокрушить меня и, мне вослед, мой дом,
Что места требуют другие, в жизнь скользя,
И отвоевывать себе свой круг – нельзя!
[К.К. Случевский. «Да, да! всю жизнь мою я жадно собирал...», с. 224]

Будто бросая вызов своему времени, поэт связывает надежды на лучшую жизнь только с уединенным проживанием в усадьбе. Констатируя факт смены укладов русской жизни, лирический герой стихотворения К. Случевского противопоставляет ритму нового времени неспешное, безмятежное погружение в себя и усадебный быт, типичные для него заботы, хлопоты. Случевский вступает в новое столетие, взяв на вооружение новый символ, связанный с его хозяйственной и литературной деятельностью одновременно, – это ладья, олицетворяющая возведенную им в дюнах усадьбу «Уголок». «Уголок» – ладья становится символом прочной и стабильной жизни; особую гордость поэта вызывает сознание того, что имение не досталось ему от прежних хозяев, оно им построено, стало частью жизни его семьи, вложившей колоссальный труд в отвоевывание у суровой здешней природы каждого клочка неплодородной земли:

А я все тот же!.. Не завишу
От этих шуток бытия, –
Меня влечет, стезей особой,
Совсем особая ладья.

Ей все равно: что тишь, что буря...
Друг! Полюбуйся той ладьей,
Прочти название: «Все проходит!»
Ладьи не купишь, – сам построй!
[К.К. Случевский. «Тьма непроглядна.
Море близко...», с. 259]

Лирический герой вполне реалистично представляет себе, насколько отличаются наказы, полученные им в ранней юности от старожилород, от реального положения дел, наблюдаемого в российской действительности второй половины XIX века:

Мне думалось, что я не буду сир и наг,
Имея свой родной, хоть маленький, очаг;
Что в милом обществе любезных мне людей,
В живом свидетельстве мне памятных вещей
Себя, в кругу своем, от жизни оградив,
Я дольше, чем я сам, в вещах останусь жив;
И дерзко думал я, что мертвому вослед
Все это сберегут хоть на немного лет...
[К.К. Случевский. «Да, да! Всю жизнь
мою я жадно собирал...», с. 224]

В мелкопоместной усадьбе благодаря усилиям нескольких поколений, возникает культурно-историческая модель мира, в которой каждому периоду русской жизни соответствует свой, особенный набор атрибутов, переносимых из Москвы, Петербурга, губернских городов в гостиные и библиотеки, в кабинеты и детские. С миром вещей, вспоминаемых или наблюдаемых через несколько лет во время посещения имения, возвращаются из детства балы, музыкальные вечера, семейное чтение вслух, нянюшкины сказки.

Очевидно, неслучайно в современном литературоведении предпринимаются попытки реабилитировать типичного русского помещика – гоголевского Плюшкина. Свойственная ему скаредность, так долго бывшая предметом насмешек школяров и маститых ученых, постепенно получает иную интерпретацию. Черты Плюшкина обнаруживают и у героев Салтыкова-Щедрина – таких же мелкопоместных дворян, хорошо знающих реальную стоимость каждой появившейся в доме вещи. Ученые – литературоведы и историки, специалисты в области русского быта и помещичьего уклада убеждают читателя в необходимости провинциальных дворян копить и экономить, жадно, до самоотречения, чтобы не лишиться последнего. Лишь в достаточно прибыльных имениях или роскошных культурных «гнездах» в старину владельцы могли жить на широкую ногу, большинству же это было недоступно.

В поэзии этот мало поэтический аспект возникает с завидным постоянством. Описывая усадьбу, в которой когда-то провел лучшие годы, лирический герой постоянно подчеркивает страсть провинциалов к накопительству, причем это касается вещей как нужных, так и отложенных до времени в сундуках, кладовых, на чердаке, в подвале. Наследники, вступая в свои права, даже не скрывают иронии, осматривая добро; каждый атрибут прошлой помещичьей жизни, случайно попавшийся им на глаза, воспринимается как символ безнадежно устаревшего уклада и мнимого достатка предков, не представляющего в новых условиях никакой ценности:

Я Крезом стал... Да что-то скучно мне!
Дом развалился, темен, гнил и жалок,
Варок раскрыт, в саду – мужицкий скот,
Двор в лопухах.....
[И.А. Бунин. «Наследство», с. 287]

Разбирая старый хлам, персонаж вспоминает, как на самом деле жила его семья, возникает картина реалистичная и правдивая:

Да, да! Всю жизнь мою я жадно собирал,
Что было мило мне! Так я друзей искал,
Так – памятью былых, полузабытых дней –
Хранил я множество незначущих вещей!
Я часто Плюшкиным и Гарпагоном был,
Совсем ненужное старательно хранил.
[К.К. Случевский. «Да, да! Всю жизнь мою я жадно собирал...», с. 224]

Как правило, стихотворения, раскрывающие особенности биографического или исторического времени, сюжетны, восходят к жанрам новеллы или баллады, построены как диалог героев о прошлом или развернутый монолог-воспоминание персонажа. Свойственные текстам такого рода конкретность описаний и узнаваемость ситуаций усиливают ощущение достоверности всего происходящего в доме или на территории, напоминают, насколько важна в целостной картине восприятия усадьбы каждая деталь, отложившаяся в памяти на долгие месяцы и годы:

Когда сидели на твердых диванах,
а самовар пел на другом столе;
луч солнца из соседней комнаты
сквозь дверь на воощеном полу;
милые рощи, поля, дома,
милые, знакомые, ушедшие лица, –
очарование прошлых вещей, –
вы – дороги,
как подслушанные вздохи о детстве,
когда трава была зеленее,
солнце казалось ярче
сквозь тюлевый полог кровати.
[М.А. Кузмин. «В старые годы», с. 183]

В одних случаях воспоминания связаны с каким-то конкретным эпизодом из детства или юности, проведенных в поместье:

Я помню, отроком я был еще; пора
Была туманная, сирень в слезах дрожала;
В тот день лежала мать больна, и со двора
Подруга игр моих надолго уезжала.
[А.А. Фет. «Не спрашивай, над чем задумываюсь я...», с. 215]

В других случаях память героев обнаруживает способность к циклизации времен года, природных сезонов, поскольку выезды в имение совпадали с пробуждением сил природы и происходили регулярно в одно и то же время:

Когда летом уезжали в деревни,
где круглолицые девушки
работали на полях, на гумне, в амбарах,
и качались на качелях
с простою и милой грацией...
[М.А. Кузмин. «В старые годы», с. 183]

Из стихотворения в стихотворение кочуют калитки и беседки, аллеи и скамьи, вспоминаемые как места тайных свиданий в годы юности. Чаще всего лирический герой погружается в невеселые размышления о том, что сгубило его любовь, ставшую самым ярким событием прошлого усадебного сезона или даже всей жизни, когда природа уже погружена в зимний сон и лишена прежних очарований:

Ты тут жила! Зимы холодной
Покров блистает серебром;
Калитка, ставшая свободной,
Стучит изломанным замком!..
[К.К. Случевский. «Ты тут жила! Зимы холодной...», с. 247]

Если в стихотворениях, погружающих героя в мифологическое время, любовь припоминается, разбуженная в сердце какой-то одной приметой, становящейся символом идеализированного прошлого, за которым узнаются лишь контуры, общий абрис старого имения, практически неуловимое состояние в природе и в душе, то биографическое время предполагает от героя более внимательный взгляд сквозь годы и события. Для него давняя любовь такая же реальная, как и много лет назад, ожившая в подробностях, ощутимых деталях, оставшаяся не просто

грезой, смутным видением о юности, а ставшая важнейшим фактом биографии русского помещика.

У лирического героя практически любого стихотворения с усадебными мотивами есть своя калитка, своя беседка, свой обрыв, вспоминаемые как важнейший этап взросления, пробуждения дремавших до поры до времени чувств. Очевидно, что этот рубеж запомнился персонажу тончайшими изменениями в жизни природы и человека, воспоминания становятся для него новой реальностью, оживают в полноте ощущений звуковых, зрительных, обонятельных:

..... Мечта полна избытка
Воспоминаний чувств былых...
Вот, вижу, лето! Вот калитка
На петлях звякает своих.

Июньской ночи стрекотанье...
И плеск волны у берегов...
И голос твой... и обожанье, –
И нет зимы... и нет снегов!

[Там же, с. 247]

Довольно часто воспоминания о детстве и юности, проведенных в поместье, приходят в сновидениях, наполненных ужасными картинками. Стихотворение «...И снилось мне, что осенней порой...», написанное И.А. Буниным на закате XIX столетия, отличается характерным изображением времени биографического, переплетающегося с временем сновидческим [онейрическим], когда родные люди, знакомые атрибуты помещичьего дома, садово-парковые окрестности, знакомые до мельчайших деталей, становятся участниками страшного сна лирического героя. Будучи зрелым человеком, много повидавшим и пережившим, персонаж до поры до времени пребывал в полной уверенности, что он готов принять с достоинством любые удары судьбы, однако воспоминания, нахлынувшие во сне, совершенно выбивают его из колеи. Память сталкивает его с прошлой осенью, когда усадьба и ее окрестности обезображены холодами:

...И снилось мне, что осенней порой
В холодную ночь я вернулся домой.
По темной дороге прошел я один
К знакомой усадьбе, к родному селу...
Трещали обмерзшие сучья лозин
От бурного ветра на старом валу...
Деревня спала... И со страхом, как вор,
Вошел я в пустынный, покинутый двор.

[И.А. Бунин. «...И снилось мне, что осенней порой...», с. 88]

Происходит сопоставление таких понятий, как колыбель и могила, но акценты здесь смещены в другую плоскость, герою не подвластно забыть истинную подоплеку семейных взаимоотношений, он помнит вполне конкретные эпизоды из жизни семьи и атрибуты обихода, с давних пор бывшие в ходу в старинной усадьбе, посадки в парке, произведенные старожилками рода:

И снилось мне, что всю ночь я ходил
По саду, где ветер кружился и выл,
Искал я отцом посаженную ель,
Тех комнат искал, где сбиралась семья,
Где мама качала мою колыбель
И с нежною грустью ласкала меня...

[Там же, с. 89]

Лирический герой, действительно, видит в родной земле одновременно свою колыбель и семейную могилу, но идеализации пространства и времени не происходит, поскольку он мыслит вполне реально, заранее приготавливаясь занять отведенное судьбой место в родовом склепе, ужасаясь лишь тому, что вынужден пока оставаться в одиночестве, растеряв семью, не имея возможности излить душу близким людям.

Сны лирического героя подобны постоянно движущейся панораме, в которой мелькают, сменяя друг друга, лица, связанные с усадебным прошлым, родные окрестности, увиденные в разные времена года и напоминающие о смене возрастов героя, этапах его взросления. Ситуация узнавания себя в потоке дворянского – семейного времени усиливается ностальгическими мотивами, когда за образом искренне влюбленного героя периода усадебной молодости

проступают его одиночество и бесприютность в настоящем. Поступаясь собственными принципами, хотя в целом сохраняя при этом приверженность старому помещичьему укладу, лирический герой принимает уклад жизни городского дома с его суетой, фальшивым гостеприимством случайным людям. Показательно, что и воспоминания, и мечты персонажа в равной степени связаны с именем и окрестностями, отсылают читателя к периодам детства и юности, проведённых в родных пределах:

То, наконец, я вижу дом огромный,
Заброшенный, пустой, – мое гнездо,
Где вырос я, где я мечтал, бывало,
О будущем, куда я не вернусь...
[И.С. Тургенев. «Один, опять один я.
Разошлась...», с. 65]

В некоторых стихотворениях лирический герой воспринимает поместье как одну огромную могилу, в пределах которой нет места живому:

И мельница, грозя крылом
Мне издали махала,
И церковь белая с крестом
Как призрак восставала.
Я ждал – знакомых мертвецов
Не встанут ли вдруг кости,
С портретных рам, из тьмы углов
Не вяжутся ли в гости?
[Н.П. Огарев. «Nocturno», с. 113]

или как некий потускневший с годами символ ушедшего дворянского века, нуждающийся в новом вливании свежих сил. Время биографическое при этом получает неожиданное продолжение, поскольку герой вполне осознаёт, что вслед за разрушающей работой пилы или топора на территорию поместья должны прийти новые исторические силы, потомки принесут с собой другие, может быть и слишком смелые, по старым меркам, но необходимые замыслы по переустройству старинного дома и парка:

Поля, леса – все гложет без заботы...
Я жду веселых звуков топора,

Жду разрушенья дерзостной работы,
Могучих рук и смелых голосов!
Я жду, чтоб жизнь, пусть даже в грубой силе,
Вновь расцвела из праха на могиле...
[И.А. Бунин. «Запустение», с. 193]

Подводя итоги, можно констатировать, что доля произведений, отражающих в усадебной поэзии особенности времени биографического, довольно высока. Останавливаясь на различных этапах детства, юности, зрелости лирического героя, поэт, как правило, соотносит их с неумолимой сменой укладов русской жизни и сменой поколений в поместье. Этапы биографии персонажа воссозданы гораздо достовернее, чем в границах времени мифологического, с преобладанием иронии или критического пафоса.

Некоторые значительные эпизоды усадебной жизни героя представлены читателю в ореоле времени биографического, поскольку не допускают, по сути своей, никакой идеализации. Рассказы старых слуг о прошлой – благополучной жизни дворянского семейства и своем убогом пореформенном бытии содержат горькую правду о пребывании в «глубинке» русского человека. Потрясенный неожиданной исповедью бывших дворовых, молодой дворянин вынужден другими глазами смотреть даже на окрестности фамильных склепов и сельских погостов – пустошей, удивляясь нравственной глухоте своих предшественников, без сожаления простившихся с самой памятью о былой гармонии в отношениях помещиков и крестьян, отдавших во власть сорным травам некогда дорогие могилы.

Постигая особенности биографического – исторического времени, лирический герой вынужден смириться с обилием доставшихся ему в наследство вещей, собранных многими поколениями предков. Рассматривая семейные реликвии, нередко иронизируя над накопительством, подчинившим себе усадебных патриархов, герой нового времени либо находит в себе силы расстаться с ними, либо оставляет на память единичные аксессуары «дворянского гнезда», наиболее дорогие по воспоминаниям о годах детства и юности. Ипостаси лирического героя при этом варьируются, он может выступать в роли накопителя – Гарпа-

гона, Плюшкина, Креза, либо расточителем – новым жителем старого поместья, без тени сожаления обрывающим путь старых вещей.

Проследившая сохранившуюся в памяти историю старых вещей, персонаж может вспоминать какие-то конкретные эпизоды усадебного прошлого, а может и грустить по поводу забытых ныне ритуалов отъезда в имение весной, когда-то носивших циклический характер, приближавшихся неотвратимо с первыми по-настоящему теплыми майскими днями.

Семейные выезды в поместье, типичные сельские занятия (например, заготовка клубничного варенья, как в стихотворении А. Белого «Сельская картина») связаны с жизнью нескольких поколений помещичьего рода: на территории усадьбы находят применение своим силам и старые, и молодые, они втягиваются в привычный ритм времени «дворянского гнезда», повторяющийся с каждым годом заново.

Иногда зимой или поздней осенью, во сне, тревожном и мучительном, нередко и наяву, в часы оцепенения и бездействия, к лирическому герою приближаются ужасные воспоминания о былом – о семье, когда-то многочисленной и дружной, осевшей на усадебной земле надолго, как хотелось когда-то верить.

Довольно долго персонаж усадебной поэзии не может смириться с забвением семейных традиций, дорогих для младших отпрысков рода атрибутов «дворянского гнезда», но постепенно, по мере приближения к границам рубежных для России, смутных

лет накануне революции, он сдает позиции и верит в разумное переустройство усадебного уклада, рассматривая разрушающую работу пилы и топора как необходимость, вызванную временем и историческими изменениями. Ошибочность подобного мировосприятия обнаружилась в предельно короткие сроки, поскольку созидательные силы на землю русской дворянской усадьбы так и не пришли.

В отчаянии лирический герой принимает единственное, как казалось тогда, разумное решение покинуть пределы Родины и влиться в ряды эмигрантов, унося с собой заветную мечту о скором возвращении на землю предков, сохраняя на долгие годы в памяти – слуховой, зрительной, обонятельной – благоухание цветов, распустившихся под окном в летний полдень, радостную неразбериху сельских праздников или торжественный, умиротворяющий колокольный звон, плывущий над окрестностями. Именно ностальгия объединяет в выражении усадебного биографического (исторического) времени недавних оппонентов – модернистов всех направлений и поэтов, придерживающихся реалистической линии. В эмигрантской лирике К. Бальмонта и, например, И. Бунина проявляется совершенно недвусмысленно выраженное стремление вновь ощутить аромат усадебной культуры, разрушить которую, как показало время, в российской действительности оказалось очень легко, но стереть ее очертания в памяти «птенцов» «дворянских гнезд» не представлялось возможным.

Список использованной литературы:

1. Бахтин М.М. *Формы времени и хронотопа* в романе // Вопросы литературы и эстетики. М.: Худ. лит., 1975.
2. Жаплова Т.М. *Усадебная поэзия в русской литературе XIX века: Монография*. Оренбург: Изд-во ОГПУ, 2004.
3. Шукин В. *Миф дворянского гнезда: Геокультурологическое исследование по русской классической литературе*. Краков, 1997. С. 62.
4. Жаплова Т.М. *Признаки усадебного пространства в поэзии XIX – начала XX века* // Вестник ОГУ. № 11 [45]. Оренбург. С. 12–23.
5. Случевский К.К. *Стихотворения и поэмы*. М.: Л., 1962.
6. Тургенев И.С. *Собр. соч.: В 12-ти т.* М., 1956. Т. 10.
7. Бунин И.А. *Собр. соч.: В 9-ти т.* М.: Худ. лит., 1965–1967. Т. 1.
8. Кузмин М.А. *Стихотворения*. СПб., 2000.
9. Фет А.А. *Полн. собр. стихотв.* Л., 1959.
10. Огарев Н.П. *Стихотворения и поэмы*. Л., 1956.